

Барак

1953 год. Мне пять лет. С этого возраста все воспоминания довольно отчетливы и последовательны.

Маленький южный город. Отец — военный. Мы живем в бараке. Летом женщины выносят во двор примусы, керогазы и керосинки и в огромных алюминиевых тазах варят варенье из вишни и абрикосов. Волшебный аромат заполняет двор. Вокруг играют ребятишки. Время от времени какая-нибудь хозяйка подзывает детей и дает им попробовать пенки пополам с сиропом.

Почему-то я не помню наш барак зимой — только летом. Хотя сохранились наши с братом фотографии, где мы в пальто и цигейковых шапках, но в памяти остались только нагретая солнцем земля, по которой так здорово бегать босиком, зелень травы и запах варенья.

Улица, на которой мы жили, называлась «Степная». Это при том, что в городе не было ни одной ровной улицы, все время вверх-вниз, а из нашего двора в ясную погоду открывался вид на заснеженные вершины гор — точь-в-точь как на картонной коробке от папирос, которые курил папа. Местные жители дали нашему бараку прозвище: «Собачий питомник». Говорили, что до войны в этом бараке содержали и обучали служебных собак. Потом собачки то ли состарились и ушли на покой

(или погибли, выполняя свой долг, но об этом думать не хотелось), то ли просто переехали в другое место.

А в пятидесятые годы прошлого века в бараке жили в основном семьи военных-фронтовиков. Помню длинный-длинный, абсолютно темный коридор. Дефицитные лампочки никогда не вкручивали — бесполезно, все равно выкрутят. Коридор мы пробегали быстро, на одном дыхании (мало ли какие чудовища притаились во мраке), к слабо светящемуся в темноте, всегда открытому выходу на улицу. Вдоль одной стены барака шли двери, вторая стена была глухая. За каждой дверью — комната типа «вагон», с окном в противоположной стене. Кровати в комнатах стояли железные, казарменные, остальная мебель в основном самодельная. В нашей комнате папа сам сколотил шкаф со шторкой вместо дверцы. Мама перегородила комнату ширмой, тоже самодельной. Стулья и стол были казенные. Зато покрывала на кроватях — роскошные! Мама купила у спекулянтки Тони (о ней пойдет отдельный разговор) громадную льняную скатерть, украшенную немыслимо красивой каймой из корзин с розами и витиеватой надписью по краям: «Триста лет роду Романовых». Из скатерти получились три покрывала: родителям и нам с братом.

Ветхие, но не потерявшие своей яркости остатки покрывал «рода Романовых» просуществовали в нашей семье до нового века.

Бобик

В центре двора перед входом в барак росло потрясающее раскидистое дерево — такие рисуют на иллюстрациях в книгах. Ствол мы, дети, не могли обхватить руками, разве что втроем. Какой породы было дерево, мы не знали. Точно не дуб: желудей на нем не росло. Ветки дерева были такие толстые и такие удобные для наших игр, что на них размещалось все: скворечники, шалаши, смотровые площадки и наблюдательные пункты. А под деревом всегда лежал Бобик — толстая, раскормленная нами ленивая дворняга благородного цвета «детской неожиданности». Абсолютно бесполезное существо и неотъемлемая часть нашего барака и нашей жизни. Бобик постоянно присутствовал в лексиконе обитателей барака как некая приправа для усиления смысла: «напился как Бобик», «замерз как Бобик» и т. д. Время от времени городская санитарная служба начинала отлов беспризорных собак, и в нашем дворе появлялись «собачники». И тогда местный хулиган Слава, который вообще был не из нашего двора, а жил неподалеку в частном доме и приходил к нам, только чтобы подраться, уводил Бобика и прятал у себя в сарае.

Когда фургон «собачников» с лающими несчастными животными уезжал, мы бежали к Славе. Бобик, озираясь, выползал из-под тряпья, вилял хвостом и радостно облизывал всю детвору с ног до головы.

Маленький бухгалтер

В бараке жили не только военные, но и гражданские. В маленькой каморке, больше похожей на чулан, жила дворничиха Клава со взрослой дочкой Марусей, про которую говорили, что она «якшается с урками». У Маруси были черные кудри, на которых чудом держалась крохотная вязаная зеленая шапочка с кисточкой. Большая девочка Валя (ей было уже семь) со знанием дела говорила, что это «последний писк моды». Валя среди детворы считалась авторитетом, и ей верили на слово.

В торцевой части барака жил бухгалтер с сыном. У бухгалтера не было жены — говорили, что она сбежала в Сочи с поваром из ресторана, а сына оставила мужу. Бухгалтер безнадежно любил Марусю. Он был очень маленького роста и с горбом. От рождения или от болезни — мы не знали. У восьмилетнего сына бухгалтера Юры на подобные вопросы ответ был один: он лез драться. Юра очень любил отца.

Два раза в месяц, с зарплаты и аванса, бухгалтер вручал Марусе прямо во дворе лохматый букет цветов. Летними вечерами женская часть нашего барака выползала во двор, каждая со своей скамеечкой. Мы, дети, бегали тут же, с интересом наблюдая за происходящим, а взрослые, по видимому, считали, что мы ничего не слышим и не понимаем. Как они ошибались! Мы не только были в курсе всех любовных и семейных перипетий наших соседей, но и обсуждали их между собой. Мужчины обычно отсутствовали — находились на службе, на дежурстве, на сборах, в патруле, как говорил папа: «То в наряде, то в засаде». И вот дамы, сидя, можно сказать, в партере, наблюдали за очередной попыткой бухгалтера растопить сердце своенравной избалованной кокетки. Финал был всегда один: Маруся принимала цветы, громко неестественно смеялась, поглядывая на зрителей, и уплывала в дворницкую, будто принцесса в свои покои. Бухгалтер, невзирая на уговоры сына, разворачивался и уходил со двора. «В кабак», — говорили взрослые. Примерно через час он возвращался пьяный, падал на траву прямо во дворе и тут же засыпал. А Юра выносил подушку и заботливо подсовывал отцу под голову.

Через много лет, случайно встретив в поезде бывшего соседа по бараку, мы узнали, что Маруся родила ребенка «от какого-то бандита», его посадили, и она все-таки вышла замуж за бухгалтера, которого, оказывается, звали Арнольд.

Гробокопатель

Такую фамилию раньше носил мордатый старшина, который тоже жил в нашем бараке. Судя по всему, мужик он был вороватый; мама говорила, что он приторговывал хозяйственным мылом и еще всякими мелочами, украденными у солдат. После женитьбы старшина взял фамилию жены — Еременко, но за глаза все звали его по первой, родной фамилии.

Жена Нина была очень худая и бледная, и очень красивая. По слухам, она болела туберкулезом. Взрослые говорили, что старшина «садист». Что означало это слово, мы, дети, не знали, но понимали: что-то очень плохое. Рассказывали, что старшина страшно ревнует жену и бьет ее, даже когда трезвый.

Скандалы Гробокопатель затевал обычно ночью. Случалось, Нина выскакивала из комнаты, иногда в одной комбинации, и бежала прятаться к соседям. Не все открывали двери: были случаи, когда старшина устраивал погромы у тех, кто ее приютил. Несколько раз мужчины пытались его «проучить», но получалось еще хуже: он отыгрывался на Нине. Пару раз вызывали милицию, но при отсутствии домашнего телефона бежать пешком через ночной, практически не освещенный город за участковым было небезопасно. Тем более, что Нина в присутствии милиционеров всячески отрицала факт избиения, а сам виновник представлял пред ними трезвый, звеня орденами и медалями, и со справкой о контузии. Может, и правда его буйства были результатом контузии; так или иначе, но прятать Нину соседи перестали.

Нина нашла других заступников. Наш двор граничил с воинской частью, а точнее — с авторотой. Выскочив однажды ночью на улицу босая, в одной сорочке, Нина с перепугу побежала прямо на КПП автороты. И часовой пропустил ее! А бежавшего следом матерящегося бугая — нет.

Утром дрожащая Нина появилась во дворе в наброшенной на плечи солдатской шинели и в кирзовых сапогах на босу ногу.

Все обитатели двора наблюдали, как невесть откуда взявшийся военный патруль уводит Гробокопателя со двора, а следом бежит Нина, умоляя отпустить ее мужа, ссылаясь на его героическое военное прошлое и контузию! Возмущению соседей не было предела. Старшину все-таки выпустили, и какое-то время ни его, ни Нину мы не видели и не слышали.

А потом Нина родила. И ребенок-мальчик родился мертвым. И его хоронили, как в песне «Городок», «всем двором». Крохотный гробик стоял прямо во дворе, на столике под нашим деревом. Все по очереди подходили попрощаться с младенцем, и громадный старшина рыдал, стоя на коленях. Бледная Нина сидела у гробика на табурете. Это были первые похороны в моей жизни.

Шамиль и Шакир

Тем ранним утром нас с братом разбудила плачущая мама: «Дети, Сталин умер!»

Помню ощущение всеобщего ужаса. Двери хлопали, по всему бараку разносились взволнованные голоса. Гробокопатель встал на табурет и собственноручно вкрутил в коридоре лампочку из личных запасов. Сразу высветились захламленные и грязные углы, и коридор стал выглядеть еще страшнее.

Нас быстренько одели и выставили на улицу. На крыльце стояли практически все дети барака. Было холодно. Валя, закутанная в пуховый платок поверх пальто, сказала басом: «Ленина отравили, и Сталина тоже». И мы дружно заревели...

А в начале лета по бараку разнесся слух: «Раин муж вернулся из тюрьмы!»

Рая была нашей общей портнихой. Она обшивала всех женщин и детей барака, искусно перелицовывала старые пальто, и они становились новыми. Правда, женщины говорили, что из той материи, которую ей приносили заказчики, она обязательно выкраивала что-то для себя. Я сама видела у нее на окне занавески из того же ситца, что и наши с мамой платья. Но этот мелкий грех Рае прощали. Во-первых, другой портнихи не было, а во-вторых, она одна растила двух сыновей, и все понимали, как ей непросто. Строго говоря, они уже выросли («вымахали», — говорила мама), но особо Раю не радовали. Сейчас бы их назвали «трудными подростками», а тогда говорили просто: «шпана». А вот имена их — Шамиль и Шакир — казались мне сказочными. Папа уже читал нам с братом «Тысячу и одну ночь», и там в одной сказке были Шамиль и Шакир.

Шамиль уже окончил восемь классов, бросил школу и подрабатывал на рынке, и Рая мечтала, чтобы его скорее забрали в армию. Шакир еще учился, но, как говорили, «через пень-колоду». Он был очень веселый, и все считали, что из него может получиться настоящий артист.

Поговаривали, что братья играли в карты с настоящими урками в дворницкой у Маруси. Рая гоняла их оттуда и говорила, что это добром не кончится. И была права. Однажды в дворницкой случился какой-то скандал, братья выскочили из каморки и побежали по коридору к выходу, а за ними — совсем взрослый парень с ножом. Я как раз стояла на крыльце, и то ли братья, то ли этот верзила — кто-то из них меня сшиб, и я покати-лась с крыльца, разбив все, что можно: лицо, колени, руки. Чужой парень сразу исчез. Позже мне никто не верил, но я точно видела у него нож!

Шамиль и Шакир перепугались не меньше меня. Они отнесли меня домой, каялись и просили прощения у моей мамы, помогали ей мазать

меня йодом и бинтовать руки-ноги, дули на раны, — и я перестала на них обижаться. Мама, конечно, пожаловалась Рае, и та, надавав оплеух сыновьям, пообещала сшить мне новое летнее платье. Но потом забыла — не до того ей было: муж вернулся из заключения, «с лесоповала», как говорили взрослые.

И все побежали смотреть на него. Дверь в комнату была открыта, перед ней столпились все неработающие обитатели барака, а за столом у окна сидел хмурый мужчина с очень темным лицом. Позже брат объяснил мне, что лицо у него такое не от природы и не от загара, а потому что у зеков (я уже знала это слово) принято пить «чифирь» — напиток, который делается из чая. Счастливые Шамиль и Шакир в белоснежных рубашках сидели напротив отца и не сводили с него глаз. Раскрасневшаяся Рая сновала по комнате, накрывая на стол, попутно раздавая детям пирожки и конфеты. Самые любопытные задавали вопросы. Помню, как Раин муж ответил на два из них: «За язык» и «Где я был — там меня нет».

Десять лет спустя в поезде к маме подошел красивый молодой мужчина: «Не узнаете?» Это был Шамиль. Он и рассказал нам и про Марусю, и про маленького бухгалтера, и про себя. Наш барак давно расселили, и его обитатели разъехались, кто куда. Шамиль и Шакир отслужили на флоте и работали на шахте в Донбассе. Настоящие шахтеры! Уже женатые, уже с детьми. Они обзавелись собственными домами, и Рая с мужем перебрались поближе к сыновьям в город Иловайск.

Кулема

Кулема была, пожалуй, самой колоритной и знаковой фигурой в нашем бараке. От нее в той или иной степени зависели все: Кулема была спекулянткой. Вернее, она «доставала» дефициты, а «дефицитами» после войны считалось почти все. Только спекулянты наживаются, а Кулема, на удивление, была самым бедным человеком в нашем бараке. Наценка, которую она делала при продаже дефицитных вещей, была копеечная. Взрослые часто обсуждали ее непрактичность («вот кто-то другой бы на ее месте...») и сетовали, что даже заработанными копейками, она не могла распорядиться с умом: вместо того, чтобы купить продукты и сварить обед детям (а их у нее было четверо!), Кулема покупала дорогие шоколадные конфеты и по дороге домой раздавала ребятишкам во дворе.

Свое прозвище она получила из-за внешнего вида. Маленькая, худая, неопределенного возраста, высохшая и жалкая, она ходила в затрапез-

ной юбке и мужском пиджаке, и зимой, и летом не расставаясь с платком и резиновыми сапогами. Настоящее ее имя было Антонина. Наша мама относилась к немногим, кто называл ее по имени. Как Антонине удавалось добывать вещи, которыми она торговала — загадка, но, если женщины говорили: «В универмаге выбросили гарусные китайские кофточки», — это значило, что вечером кто-то в бараке будет в такой кофточке.

Я, кстати, очень долго воспринимала слово «выбросили» буквально. Так и представляла, что в магазине открывается дверь черного хода, и продавщицы выбрасывают прямо в грязь красивые кофточки, а Антонина их подбирает, отстирывает и продает. Помню шубку из козла, которую мама купила мне у Антонины. Я ее носила с первого по пятый класс, а поскольку росла только ввысь, рукава мне мама наставляла, и шуба постепенно превращалась в куртку.

Младшие дети Кулемы были близнецы лет восьми-девяти — маленькие, худенькие, белобрысые и непоседливые. Кажется, их имен никто и не знал — близнецы и близнецы. Так их называли все, в том числе мать и сестры. Я была у них как-то раз на дне рождения. Антонина принесла пирожных и зазвала детишек со всего двора. Их комната, точнее, коморка, была величиной с вагонное купе. Две двухъярусные солдатские кровати вдоль стен. У окна между кроватями — столик, как в поезде. На двери на гвоздях — одежда. Керосинка в общем коридоре за дверью. Их пятеро, спальных мест — четыре. Очевидно, близнецы, как самые худые, спали вдвоем. День рождения, несмотря на тесноту, был очень веселым. Мы сидели с ногами на кроватях, ели пирожные и запивали лимонадом. Потом у меня дня три болел живот.

Старших сестер близнецов звали Лара и Рита. Лара училась в пятом классе. У нее были рыжеватые вьющиеся волосы, золотисто-карие глаза и необыкновенно длинные загнутые ресницы. Несколько лет спустя я увидела цветное фото очень похожей на нее девушки — делегата комсомольского съезда — на обложке журнала. Но не уверена, что это была она. Хотя больше таких глаз и ресниц я не встречала.

Рита, старшая дочь Кулемы, была рослой, очень серьезной девушкой с длинными каштановыми косами. Она училась в десятом классе, «шла на золотую медаль», о ней даже написали в местной газете как об очень талантливой (особенно в математике) ученице. При этом весь дом и все заботы о сестре и братьях, пока мать добывала деньги на жизнь, лежали на ее плечах. Когда Рита шла в школу с портфелем в единственном своем коричневом платье с белоснежным воротничком и черном переднике с крыльями, взрослые норовили сунуть ей в портфель кто пирожок, кто яблоко, а мы, малышня, бежали следом, и всем хотелось подержать ее за руку.

Правда, дворничиха Клава злословила: «Все дети разномастные — видать, папочка не один!» Мы не понимали, как это в семье может быть «не один папа». Совсем нет папы — это понятно, мы росли после войны, — но несколько?..

Папа оказался один. И вскоре появился. Гораздо позже, когда я подросла и уже ходила в кино, все киношные бюрократы напоминали мне этого «папу». Толстый тип в шляпе, очках и плаще, с портфелем в руке, проследовал через двор, опасливо поглядывая на сонного Бобика.

Близнецы бегали по двору радостные, умытые и нарядные, как в день рождения, и хвастались новыми игрушечными пистолетами — не самодельными деревянными, как у всех, а металлическими, с пистонами, неотличимыми от настоящих! «Папа приехал», — сообщали близнецы всем встречным. Впрочем, папа у них пробыл недолго. Дворничиха Клава, чулан которой отделяла от каморки Антонины лишь фанерная перегородка, сообщила, что он приезжал просить развод, посидел всего пару часов и, узнав, что Рита учится «на отлично», пообещал забрать ее после школы к себе в Москву и устроить в университет.

«Как будто она без него не поступит!» — возмущался барак.

Вечером мы с братом не спали и слушали, как мама пересказывает папе новости от Клавы. И папа, который терпеть не мог сплетен, ее слушал. До нас доносился взволнованный мамин полусшепот: «Все дети его, все четверо... он чиновник... эвакуация, Ташкент... отсиделся в тылу... она рожала... вызвали, обещал потом забрать... бросил... некуда деваться, она сюда... родственникам не нужна... теперь приперся за разводом, жениться хочет, другую полюбил...»

Мама вдруг не выдержала и почти крикнула: «Она, оказывается, кандидат наук, математик, в университете преподавала!» — «Вот в кого у Тони такие талантливые дети», — задумчиво сказал папа.

«Кандидат наук, университет, чиновник» — эти слова мы с братом не только не поняли, но и не запомнили толком. Все это улеглось в голове через несколько лет, когда мы с родителями вспоминали свой барак. А тогда было только горько от осознания несправедливости и обидно за Кулему. Впрочем, больше так ее никто не называл.

На экзамены Риту провожали все соседи. В отутуженной школьной форме и белоснежном переднике, с огромными бантами в каштановых косах, заплетенных «корзиночкой», в новых туфлях (Тоня постаралась), она была чудо как хороша.

Как и ожидалось, Рита получила золотую медаль и поступила в университет, но поехала не в Москву — в Ленинград.

Сыночек

Так моего брата в раннем детстве называла мама — чтобы не путать: ведь Сашей его назвали в честь папы. Долгое время я считала, что «сыночек» — это и есть имя моего брата. Он был на два года старше меня и в двадцать раз умнее. Мы были очень дружны и до школы ходили в обнимку. Дворовая детвора дразнила нас: «Тили-тили тесто, жених и невеста». Я стеснялась, но Саша объяснил мне, что брат и сестра не могут быть женихом и невестой. Пораженная, я тут же сообщила эту новость всем обидчикам. Ребята мне не поверили, но брат посоветовал им уточнить у родителей. И инцидент был исчерпан.

Саша прекрасно рисовал. Особенно хорошо у него получались лошади и собаки. И те, и другие были в движении: стояли, бежали, скакали. А вот музыкального слуха у брата не было. Папа говорил, что им обоим медведь на ухо наступил, и что сам он узнает только «Интернационал», и то потому, что все встают. Гимн Советского Союза уже существовал, но почему-то в торжественные моменты в те годы чаще исполнялся партийный гимн — «Интернационал».

Брат был невероятно изобретательным. Я всюду следовала за ним, как нитка за иголкой. Бедная мама! Она ведь каждый раз рисковала, уходя за водой или в магазин. За водой около единственной во дворе колонки выстраивалась очередь из ведер. Поскольку одно ведро наполнялось примерно за полчаса, последний в очереди передвигал все ведра и отодвигал полные, пока кто-нибудь не сменял его. Все было почестному. Чаще всего мама таскала нас с собой, но это не всегда было возможно.

В мамино отсутствие мы разрисовывали печку и стены. Их когда-то просто побелили, а мама обмолвилась, на свою голову, что ей нравятся обои с рисунком.

Как-то раз мы чуть не устроили пожар: нашли в шкафу электроплитку и решили проверить, как она работает. Розетка была у двери, а на двери — занавеска, которая мгновенно вспыхнула. Слава Богу, вбежала соседка и спасла нас.

Папа

Папа был главным человеком в нашей жизни. Мы очень любили его и гордились им. И с нетерпением ждали из командировок. Это у него такая должность, говорила мама, что он постоянно в разъездах.

Как дочь военного, я по количеству звездочек на погонах могла определить звание любого офицера. У папы звезда была одна — по центру

погона. Не генерал — значит, майор. А должность? Папа смеялся: «Пом. зав. зам. нач. штаба». Шутка, конечно, но в раннем детстве я верила.

Весной, летом и до глубокой осени папа находился в летних военных лагерях на сборах. Мы его не видели по три-четыре месяца и очень скучали. Помню, что мы однажды навестили его в таком лагере. Как добирались — не помню. Помню только целый палаточный город, мы с мамой идем по аллее с пирамидальными тополями вдоль реки, а навстречу нам — папа верхом на лошади. Так и стоит эта картина перед глазами: раннее утро, всадник на гнедом жеребце, а над рекой клубится туман. Он посадил нас с братом впереди себя, маму сзади, она визжала от страха, а мы совсем не боялись — это же папа! Счастье в чистом виде...

Однажды он отсутствовал особенно долго: шли учения. Помню, маме передали, что ночью нас свяжут с папой, и мы бежали по темному городу в центр к знакомым, у которых был телефон. С нами была еще одна жена офицера с дочкой Аллочкой. Сначала мы долго ждали соединения, и вдруг мне дали на секунду трубку, и я услышала родной голос, расплакалась и смогла только пролепетать: «Папочка, когда ты приедешь? Приезжай скорей!»

По пути домой я мысленно кляла себя. Я впервые в жизни говорила по телефону — и так оскандалилась! Вместо того, чтобы сказать что-то умное и взрослое! Четырехлетняя Аллочка, которая была моложе меня на год, сказала своему папе в трубку: «Папа, привези мне колбасы». Наверное, так и нужно говорить по телефону: по делу и без соплей! Утешало только то, что и брат, и мама говорили то же, что и я.

Хотя связь длилась считанные минуты, папа успел сказать маме, что на днях их артполк меняет дислокацию, и эшелон сделает остановку в Беслане на несколько часов. Через полвека Беслан будет ассоциироваться со страшной трагедией. А тогда это был крохотный городок с железнодорожной станцией, тихий и мирный.

Ехать в Беслан или нет — вопрос не стоял: конечно, ехать. «На днях» — то есть точно было неизвестно, или, как утверждал мой умный брат, это «военная тайна».

До Беслана добирались на военном грузовике: мы с братом — в кабине с водителем-солдатом, мама — в кузове. Потом два или три дня жили на вокзале в комнате матери и ребенка, где находилось несколько таких же ожидающих эшелон женщин с детьми. Это была большая комната с маленькими кроватями только для детей, мамы спали на сдвинутых стульях. Днем дети носились по перрону, встречали и провожали проходящие поезда. Некоторые ненадолго останавливались, и тогда мы разглядывали пассажиров, которые вылезали из вагонов, чтобы размяться. Они нам казались небожителями.

По вокзалу пронесся слух, что эшелон вот-вот прибывает, но промчится мимо без остановки. Все ожидающие переполошились, но железнодорожник успокоил расстроенных женщин, сказав, что эшелон остановится, правда, всего на пятнадцать минут.

Последние часы были самые томительные. Взрослые нервничали, их нервозность передалась нам. Мы все вели себя хуже обычного: галдели, носились по перрону и не обращали внимания на окрики мам. И вот, когда уже казалось, что мы ждем напрасно, появился эшелон — бесконечная череда разнокалиберных вагонов с огнедышащим паровозом во главе. Некоторые вагоны были совсем без окон. В широких раздвижных дверях виднелись улыбающиеся лица солдат. «Теплушки, — сказала мама, — как в войну». — «А чего они смеются?» — «Учения — не война», — за маму ответил брат.

Солдаты выпрыгивали из вагонов, но от эшелона не отходили, наверное, было нельзя. Местные женщины в темных платках совали им яблоки и еще какую-то снедь. Все встречающие, кроме нас, уже обнимали своих мужей и отцов. А минуты бежали! Вот уже паровоз выпустил облако пара, и перрон моментально опустел, а папы все не было и не было. Мама с трудом сдерживала слезы.

Наконец, мы увидели папу! Мы кинулись к нему. Он был расстроен, виновато говорил, что всю ночь дежурил, а под утро задремал и проспал! Оказывается, в этом поезде он был самый главный, отвечал за переброску полка. Папа все просил и просил у мамы прощения, и вдруг встал перед ней на колени! На глазах у всего эшелона! «Прости, прости!» Фуражка в руках, склоненная кудрявая голова... Конечно, мама его простила.

Эшелон тронулся, он двигался все быстрее, солдаты кричали: «Товарищ майор, товарищ майор!» Мы заплакали от страха, что папа не успеет. Папа побежал, выронил фуражку, а какой-то солдат выпрыгнул и ее подхватил, и множество протянутых рук втащили и папу, и солдата в последний вагон. Успели!

Какие они были тогда молодые, мама и папа. Маме — двадцать восемь, папе — тридцать четыре года. Его не станет через одиннадцать лет: война догонит. А мама проживет без него еще полвека, и он навсегда останется ее единственным мужчиной, синеглазым капитаном, сказавшим ей в мае сорок пятого в предместье Берлина, на ступеньках чудом уцелевшей кирхи: «Мы будем жить долго и умрем в один день».